

ДАЛЕКОЕ. СВЯТОЕ. ДОРОГОЕ...

Солнце уронило на крыльцо тёплые ладошки.

Крыльцо было небольшое, почти квадратное, ступенькой в ширину одной сучкастой еловой доски, давно почерневшей и уже начинающей трухлеть и обламываться по сбитым краям. Перед ним на размятую пыльную зелень подорожника хозяйской заботой брошены две узкие горбылины-подножины, а по левую руку чуть прикопано в землю ржавое железное корытце-скребок для очистки сапог и прочей походной обуви от налипшей уличной грязи. По жаркой июльской поре дождевой воды на дне желобка сейчас не мутилось нисколько, но расхаживающие по дворице белого пера курицы, потряхивая красным гребешком и безумно выкатывая горошины глаз, всё равно поминутно заглядывали в него и тут же высказывали своё недовольство бормотанием или резким кудахтаньем и агрессивным налётом на соседок, прогоняя их к штакетнику чужих палисадников.

Мальчику было хорошо. Загорелый до черноты, в одних коротких матерчатых трусиках, он сидел на округлом порожке входной двери в сени, ощущая заглубившимися ступнями приятную

нагретость старых досок крыльца, жмурился от утренних солнечных лучей, вздёргом руки отгонял надоедливых мух и кусачих паутов и осторожно ковырял на сбитой коленке серую коросту, освобождая из-под неё розовый язычок нарождающейся кожи. Пару раз его движения случились неловкими, мёртвая кожица послушно сползать не желала, и тогда колёно остро покалывало невидимой иглой, а следом на потревоженном месте надувалась плотная бусинка крови. Шмыгнув носом, он начал усиленно дуть на это ранение покачивал согнутой ногой из стороны в сторону, рождая освежающий приятный ветерок, слюнявя палец, размазывал красное выделение грязными полосками по всей угловатой коленной чашечке.

В трёх-четырёх метрах от мальчика почти на середке улицы, по которой пару часов назад прогнали на поскотину деревенское стадо, наряду с уже высохшими до хрупкой невесомости дырявыми навозными лепёшками, густо наложены были сейчас новые пахучие коровьи «подарки», богато облепленные крупными зелёными мухами. Не обходили их стороной и прилётом и суетливые воробьи, и любопытные шныря-

лы-курицы. Но всякий раз, когда самая настырная хохлатка погружала свой вездесущий точёный клюв в плотную массу навоза, в неё летели песчаный камешек, трухлявая палочка или ивовый прутик, которые мальчик наскоро отыскивал тут же, у бревенчатого бока приземистого бабушкиного дома и кидал, вызывая куриный переполох.

Ему давно пора было идти завтракать. Большая кружка парного молока рядом с початой трёхлитровой банкой под полиэтиленовой крышкой (наливай, сколько хочешь, ежели вдруг не хватило), солидный ломоть рассыпчатого белого хлеба величиной в две взрослые ладони (а может, даже любимая хрустящая корочка, если никто из братьев её прежде не сжомкал), выпеченного спозарань в поселковой пекарне, немного подмокший и потому комковатый сахар в пластиковой сахарнице, треснувшей по углу, земляничное варенье в глубокой стеклянной вазочке с невесомой чайной ложкой на плаву – всё это ожидало мальчика в прохладной избе, по-хозяйски накрытое стареньким, местами протёртым до дыр полотенцем. А если этого пропитания мало, сунься привычно в печь, где непременно отыщешь на широкой сковороднице жареную картошку с луком – ещё тёплую, вполне съедобную.

Да, пора было подниматься с порожка и шагать в избу, но солнышко так приятно нежило мальчика и игриво слепило его глаза, что он всё сидел и сидел на золотом от яркого света крыльце, пугая песчаником неугомонных несушек, ловко прихлопывая на

расцарапанном от покусов впадом животе монотонно жужжащих паутов, тут же подвергая их жестокой экзекуции и кидая себе под ноги обезглавленные крылатые трупики.

Воля вольная на четыре стороны, чистое утро, деревенская улица, избы, сарайки, сеновалы, огородные прясла, молодой кудрявый березник за околицей, одинокая горбатая сосна на тропинке к реке – вся широкая округа залита солнечным светом, потому и на душе у мальчика сладостно, покойно, безмятежно. Хотя нет – что-то в близкой памяти всё же подзванивало тревожным колокольцем, тонкой, едва уловимой минорной ноткой проскальзывало поперёк.

Мальчик сделал робкое усилие, чтобы вспомнить день вчерашний.

– ...Бабушка моет меня в бане и всё приговаривает: «Личико шанежкой, глазки горошиком... Личико шанежкой, глазки горошиком...» Вот шанежкой и выросло... Наша мама – красавица писаная, а мы с сестрой прямо незнамо в кого такие небаские уродились. Поди-ка теперь – спознай-угадай...

Чей это рассказ, про кого? Ах да, это же бабушка о своей бабушке воспоминание вела, когда вчера у крыльца на лавочке с соседкой вдруг завечерили. Дверь в дом распахнута настежь, мальчик в сенях за высоким марлевым пологом никак заснуть не мог, слушая внешний комариный писк, – всё ворочался, подушку комкал да дощатой лежанкой скрипел, вот и подслушал невольно старушечью случайную посиделку. Они уж и посмеялись там, и поплакали даже за своими скорбными откровениями.

– ...Отца у нас не было. А у соседей, у наших подружек, отец поедет на базар в Шурму – очень уж хороший базар был в Шурме, и своим дочерям непременно везёт с него подарки. Всякие-разные. И вот они вылетают на улицу и хвалятся: «Мне тятка вон что привёз! Мне тятка вон что привёз!..» Показывают, хвастают взахлёб на нашу острую зависть. А мне тоже хотца гостинец. И я бегу в их дом и кричу сквозь слёзы: «А мне бы тятка тоже привёз гостинец. Тоже, тоже...» Однажды Екатерина Тимофеевна, соседка наша добрая, вынесла мне три сушки. Кругленькие, хрусткие. Я их взяла в руку и несу, как малый букетик. Радарадехонька. И всем встречным заявляю: «А мне тятка вот что с базара привёз. А мне тятка вот что с базара привёз...» Тоже ведь хотелось любви и отцовской заботы. А как же...

Бабушка вздохнула тяжело, потербила вечный передник, помолчала минуту – другую:

–...Мама, конечно, настрадалась с нами. Маму Марфой Ивановной звали... Настрадалась она с нами, миленькая труженица. Великая мученица. Великомученица, можно прямо сказать...

Уходила она на работу рано утром – мы ещё спали. Просыпались – крынка с молоком на столе, и хлебушек кусочком, и картошка в мундире. И мы с сестрой ели самостоятельно... А потом вперёд – тоже за работу. Да-да... Была у нас свинья. Хрюшаня. И мы обязаны были эту свинью пасти. Свинья большая, жирная, ленивая, а мы махонькие, шесть и семь годов нам с сестрой всего набежало... И вот выгоним эту свинью со дво-

ра и пасём, как могём. Как могём, так и пастушим. А ещё надо курей накормить. И курей кормили – картошки им намнём сколько-то, и довольно... Помню, очень боялись грозы. А тут нашла такая гроза страшная! Ливень, ветер сучья ломит, а у нас свинья никак домой не идёт. Мы её гоним-стягаем, а она в луже валяется. Похрюкивает ещё с удовольствия. Потом треск, словно дерево какое в аккурат пополам распласталось... А за деревней тогда было гумно. И вот загорелось это гумно. Потом второй треск, шум, тарарам – на мельнице девятилетнего парня убило. Молнией прямо попало... Гумно горит, мельница тоже занялась, а в деревне никого, все на работе в поле. Одни старики на полатях. Да мы с сестрой – сопли-свинопасы... Кое-как загнали всё ж тогда упрямую скотину во двор. Она в навозе шоркается, и мы лежим тут же, в подворотне, слезами исходим. Описались даже. Страшно как было – не передать...

Мальчику на своей немилой лежанке тоже вдруг сделалось страшно. Он ещё потомился пару минут с закрытыми глазами, чуточку вслушиваясь в окружающую тишину, словно ожидал раската грома, потом сбил в ноги одеяло, резко откинул полог и быстро юркнул на крыльцо – бабушке под защитный бочок. Та совсем не удивилась явлению внука – шершавой ладонью провела по его вихрастому чубу и вернулась к прерванному рассказу:

– Мама работала в колхозе, жилось нам тяжело. Потому она договорилась с фермой, чтобы мы с сестрой пастушили теперь и колхозных свиней. Два часа до обеда

и два часа опосля. Тринадцать свиноматок по списку, поросёток не счесть да ещё и подростки... Выводили их на прогулку далеко в поле, за два километра. Там грязи полно – они в ней и купались в охотку. Не выгонишь силком... И война когда стряслась, мы тоже пастушили, около кладбища. Глядим, на лошадке верхом парень бойко скачет. Николай Макарыч. Он пацан ещё, но его пошто-то с детства все звали только так: Николай Макарыч... Вот едет и кричит: «Нинка, Лидка, бросайте всё к херям. Война приключилась...» Ой, мы так сразу и спужались. Давай гнать домой своих поросёточек. А они не идут. Ни в какую! Не догуляли своё, потому не вылазят из грязи. Мы уж сами все расхристанные, в глине по уши, не отличишь от свины. Кое-как всё-таки справились, загнали на место и... На площади около церкви уже народищу! Тьма. Там трибуна дощатая. И кто ревёт, кто храбрится... А мы возрастом салажата, вон, как Стёпка. Что с нас взять? Глупыши неразумные...

Бабушка вновь погладила мальчика по головке.

– Что не спишь-то, внучок? – спросила ласково.

– Не хотца... – коротко ответил мальчик.

– Ну ладно, коли так. Посиди маленько...

Сидели молча, наблюдая, как медленной синевой истекает на горизонте уходящий день.

– Экошь как, значит, – подала голос Митрониха, бабушкина верная напарница и подружница. Она уж, верно, сколько раз этот рассказ слышала, а всё дивится, как новости:

– А мне всё больше помнится, как мамке нашей мы хотели подсо-

бить. Да всё в раскоряку, всё в убыток выпадало... Раз за хороший труд, за ударную работу выделили ей наградную пачку мыла. Печатка такая хозяйственная, большая... И мы, жалеючи маму, решили с сестрой помочь. Моя инициатива: «Давай постираем бельё. Мама придёт и нас похвалит...» Собрали всё, что можно и не можно, унесли на речку. Там всю печатку и измылили... Мама приходит вечером с поля. И мы ей дружным хором: «Мама, мама, а мы тебе помогли!» – «Что-что?» – «А мы всё бельё перестирали. Всю одежду...» – «Да? А чем же вы стирали?» – «А мылом». – «А где мыло?» – «А мы измылили...» – «Да этим мылом только белые платочки потребно стирать...» Так-то в деревне все стирали золой. Зольной водой. А тут мы, помощнички... Она даже поплакала. А мы думали, она нас похвалит...

Митрониха перевела дыхание и тут же продолжила:

– Или вот ещё. Зима. И опять мы стараемся маме подсобить. Дров наносим к печке. Большая печка была и ещё вдобавок железная печка. С трубами. И туда, и туда наносим... А электричества не было – лампа только. Да и лампа-то пятилинейная, маленькая, тусклая. А если и керосина нет, так копилка тогда... И вот закопилось стекло пятилинейной лампы. Я сестре говорю: «Давай вычистим. Маме сделаем подарок...» Она противится: «Сломаешь». – «Нет, не сломаю». – «Ты плохо вычистишь». – «Нет, я хорошо вычищу». И я вычистила на крыльце снегом это стекло. Чисточисто стало... Топаю обратно в избу и, чтобы не сразу показать

сестре, какое оно чистое, прячу стекло за спиной. Прохожу у печки, а трубка за угол – дзинь! И сломалась... Господи, горя-то сколько было. Сколько плача. Слёз-то сколько было пролито. Стекла-то ведь такого негде было купить. Вот ведь проблема какая стала... Как отревелись, залезли на полати, под тулупом угомонились. Мама приходит ночью, уже темно. Но сестра выставилась тут же и заявляет с ябедой: «Мама, коптилку зажигай. Танька стекло поломала, лампу нельзя трогать...» Мама зажгла коптилочку, устряпалась скоро со скотиной. И лишь тогда спросила: «Зачем вы это сделали? Я вот вас сейчас накажу, ту и другую без разборки, будете знать». Взяла сучилку – батожок тоненький. И раз-раз. Поколотила маленько. Не по нам, по тулупу...

Прильнув к тёплому бабушкиному боку, мальчик уж было начал подрёмывать, посапывая и клоня голову на грудь. Но услышав, как кого-то где-то поколотили, выхватив это слово случайным порядком из чужого рассказа, тут же широко распахнул глаза, поёжился, передёрнув плечами.

– Спать-то не пора ли тебе, милоч? – вновь спросила бабушка.

– Не пора, – капризно ответил мальчик, понимая, что обманывает и себя, и взрослых. А потому минуту спустя уже без лишних уговоров поднялся с места и поплёлся в сени на кровать.

– Спокойной ночи! – кинула ему вслед бабушка привычное пожелание и вернулась к разговору с соседкой:

– А война грянула – страшно как. Стали забирать на фронт мужиков. И девушек несколь-

ко забрали. Плача было скоко... Вон Настя Кораниха жила. У неё муж русский, Алексей по имени, но почему-то он всё время читал Коран. И прозвище ему дали соответственное – Коран. А она, следовательно, Кораниха... Он перед самой войной умер, этот Алексей Коран, и она осталась вдовая. У неё было пятеро сыновей и одна дочка последняя. И вот все эти парни, друг за дружкой, оказались в армии. Кто во флоте, кто чего. И бедная Настя сначала одну похоронную получила. Следом вторую, третью, четвёртую... Когда последнюю похоронку принесли в сельский совет – на пятого, тогда уж и не знали, как это Насте сообщить. И так вся никакая, от горя чёрная, как головешка, а тут ещё добавка. Но сообщать всё одно надо, как иначе... А парни-то были какие красивые. Высокие, кудрявые. Сероглазые, чернобровые, румяные. Статные такие. Я всех их очень помню, хотя и малявка была... И вот пришла похоронная на пятого. Секретарка сельсовета, молодая баба Паня, жалобится: «Не знаю, как вручать...» А мама моя была утешительницей. И ещё Катя Кондрашиха. Тоже утешительница. Только мама словами могла утешать, а Катя всё лаской да нежным поглаживанием... В итоге они пошли втроём. Секретарь и две утешительницы. А дело было вечером, после работы. Увидела их Настя и сразу остамела вся. «Чё, – говорит, – случилось?» Ещё вопрос не успела задать, а уже поняла сердцем, что к ней сельсоветских привело, какая тяжкая забота... Упала тут же, как подкосили её, окаменела вся. И трое суток, считай, от неё не отходили

мама и эта Катя Кондрашиха. Одна до обеда сидела дежуркой, другая после обеда. Одна до полуночи, другая с полночи. А Кораниха всё лежала недвижно, словно и вправду насовсем померла... Фельдшера не нашли, медика не было. Ничего сделать с бабой не могли. Уж и ноги-то ей мочили колодезной водой, и голову тормозили, и по щекам её хвостали, и по рукам-то её били до чёрных синяков. Всё делали, чтобы только привести в чувство. А она лежит трупом, глазами, правда, смотрит, но никаких потугов к жизни не подаёт. Потом уж только, на третий, кажись, день, к вечеру отошла. Головой качнула, рукой шевельнула. Жива! И как тогда плакала, как завывала. Как зверь дикий, прям точь-в-точь. И утешительницы тут же с ней подголоском – воют и воют, и слёзы по щекам размазывают...

Бабушка махнула согнутыми пальцами по глазам, словно случайную слезу тоже старалась скрыть:

– А в сорок четвёртом году и у нас мама серьёзно захворала. Перед тем у её родного брата, пропавшего без вести, жена померла – четверо детей от них остались. Повесились они тогда на нашу маму, плачут, жалостят: «Крёстна, не сдавай нас в детдом. Крёстна, не сдавай...» Так и стало нас общей оравой шестеро и мама одна. А потом она заболела... А почему занедужила-то? Кормить нас надо, а кормить нечем. И она пошла с подружкой по ранней весне на озеро рыбу ловить. За пять километров... Сетей нет, морды какие-то плетёные ставили. Чтобы принести рыбу одним разом и себе, и в колхоз, в столовую. Или

куда там ещё. Это уж я не помню... И вот они шли по озеру и провалились. Простудились сильно. Но напарница-то выдюжила, не расхворалась, а мама слегла. И мы вот – ой-ой. Настрадались как, Господи!.. Мама лежит, а налоги-то вынь да положь. Налоги страшные. Надо скоко-то килограммов масла сдать, надо сто яиц сдать, надо мешок шерсти сдать. Это всё один сельхозналог. Да плюсом живые деньги... И вот приехали из района агенты. Мужики крепкие, мордастые. По домам давай шастать. Раз приходят к нам – у нас денег нет. Второй раз приехали – денег нет. Третий раз приехали – денег нет. А мама лежит – жёлтая, худая. Кожа да кости. Уже совсем помирает. И над ней, представь, двое здоровяк-мужчин топают ногами. А мы рядом жмемся, ревём. Шесть душ, и все крохи... И вот она повела в нашу сторону рукой и заявляет: «Возьмите их всех... как налог...» Те только фыркнули, дверь хлопостнули. Через два дня приезжают вновь, уже на тарантасе. Заходят прямо в огород, вырывают всю морковь, капусту всю вырывают. Лук, чеснок и что там ещё было. И всё это погружают скопом и увозят. За налог, якобы... А соседка, тётка Мясникова видит это бесчинство и прямо в лицо им бросает: «Бессовестные вы ахиды, что же это вы творите? Креста на вас нет. Ребят-то голодом пошто хотите заморить? Сироты-то в чем провинны?..» А в Троицком в то время был лесопункт, там и столовка. В эту столовую агенты сдали наши овощи, а выручку пропили. Нам же ни квитанции, ничего... Подходит окончательный срок платить налог. Снова приезжают.

Уже другие шныри. И повели у нас со двора корову. Кормилицу нашу. Тётка Мясникова, помню, вновь выбежала и кричит: «Ой, что делается, что делается! Вот кого убивать-то надо. Вот изверги, вот враги!...»

Когда увели корову, мы, конечно, страшно голодали. Так все, даже с дальнего конца деревни, несли нам молочка. В крыночках, в черепажных горшочках. В платочек поставят портяной и принесут: «Марфочка, возьми...» А мама только плачет, ничего сказать не может... Лежит и тихо помирает. В общем, совсем худы дела...

Единственная ценная вещь осталась у мамы в сундуке – это скатерть. Необыкновенно красивая. Подарок... И вот как-то приходит тётка Мясникова и советует: «Нинка, скатерть-то продайте. Хоть хлеба купите. Может, мать-то у вас с того и поправится...» Послали меня с этой скатертью к соседу через дом, который работал в сельпо на складе. Это не селинский уроженец, пришлый, но в Селино как-то прижился, обжегился. И вот я пришла и стою. Он спрашивает: «Чего пришла, девочка?» – «Пётр Трофимыч, мамка умирает, и мы с голоду пухнем. Возьмите скатерть, дайте хлеба...» – «Ну, показывай...» Развернул скатерть, покивал довольно головой. И командует жене: «Дай полтора ярушника...» А ярушнички тоненькие. Целый и половинка. Кило двести, не больше. Но я и этой подачке рада...

Принесла я этот хлеб, выложила на стол, все тут же собрались. Смотрелки устроили. Сестра заявляет: «Никто не трогает. Это маме!...» А у всех слюнки, всем хочется хоть крошечку. Как тут

утерпишь... И тогда сестра спрятала всё в большую корчагу и убрала подальше. Только маме сразу отрезала половинку тонкого ломтика. И пока мама ела, мы молились. Ну, как молились? Встанем рядком, на восток смотрим и крестимся. Просим Господа Бога, чтобы сохранил нашу маму. И она и вправду потихоньку выправилась...

Мальчик лежал в сенках с закрытыми глазами, сложив руки на груди, и никак не мог заснуть. Но и бабушкин рассказ он почти не слышал – так, отдельные фразы, отдельные слова: голод, скатерть, ломтик, крестимся... Он поскрёб ногтями лоб, который почему-то зачесался, хлопнул по животу, давя проникшего сквозь марлевый занавес одиночного комара, затем потёр правое плечо, саднящее от полуденного загара, притянул край одеяла к левому боку – словно тоже осенил себя крестом-оберегом. Сказал, как скомандовал, чётко и громко: «Надо спать! Надо спать!...» Но ещё долго ворочался, едва улавливая затихающим слухом осторожный старушечий говор на улице.

– А я, Ивановна, всё племянницу забыть не могу. Стоит перед глазами, как живая, – подхватила рассказ подруги Митрониha. – Уж такая была красивая, прямо ангел во плоти. Волосы белые, как ленок, вьющиеся. Глаза открытые, голубые-голубые. У мамы нашей такие были глаза. Бровки чёрные, что шнурочки, сама румянёнькая. Полиночка! Мы её так все любили... И вот когда недоедали, она всё отекает, отекает. И умерла тихонько. А ей всего пятый годок пошёл... Хоронить некому, женщин всех запрягли на лесоповал. Один ста-

ричок под боком, Василий Кузьмич, царство ему небесное. Мы к нему сходили, упросили. Он пришёл, мерочку снял. Гробик скоро сколотил. И мы все: я, сестра, двоюродный брат, мой ровесник – мы втроём пошли копать могилку. В декабре месяце. Взяли топор, взяли лопаты, взяли печню, заступ такой железный, заострённый... Нашли на кладбище, где родственники похоронены, расчистили свободное место. И стали рубить землю топором. Но силы-то нет рубить, да и замёрзла земля. И печнёй стучаем – не поддаётся. Но всё ж таки сколько-то топором порубим, лопатой погребём. И руками больше, руками... Наверное, с полметра только и выковыряли в глубину, больше силы не осталось... Потом иная проблема – на чём везти. Лошадей забрали на фронт – быки только. А быки – кто воду возит, кто корм возит. Даже быка нельзя получить. И вот на саночки этот гробик махонький поставили и поехали хоронить... И как мы плакали – как мы её любили все. Даже теперь у меня... не отходит от меня это чувство любви к ней. Это восхищение – такая была умненькая да красивенькая, голосочек такой нежный... И вот мы её хороним. Опосля палочку случайную на могилку воткнули, поперечину чем-то прихватили. Как крестик...

Последние слова Митрониha произнесла, едва сдерживая всхлипы, комкая в кулаке мятый солоноватый платок.

– Да-а, сколько уже с той поры годков отстукало, а всё помнится, – вздохнула бабушка мальчика. –

Горькое время выпало, а памятное, неотступное.

– Далёкие годики, да дорогие, – согласно закивала и Митрониha...

...А новое утро длилось и длилось нескончаемо.

Выгнув спину и помяв серый бок о дверной шершавый косяк мягко ступил на крыльцо бабушкин кот Ванька. Задрав вверх остроухую голову, посмотрел без особого интереса на лежащее на коньке соседней избы солнечное блескучее кольцо и тоже вдруг повалился на доски, подсовывая под почёсывание свой мохнатый живот. Мальчик сначала хотел пихнуть настырного кота в придорожную пыль, но потом передумал. Помахал ивовой веточкой перед кошачьим носом, заставляя Ваньку впустую махать в воздухе лапой и выпускать коготки, потом помяукал несколько раз, насупив брови и уставившись тупым стеклянным взглядом в расширившиеся зрачки насторожившегося кота, подразнил его суровой гримасой, ожидая спешного кошачьего бегства, но всё было без толку. Деревенский проныра – то ли по природной своей лености, то ли по иной веской причине – стойко перенёс все мальчишечьи выдумки и издевалки.

– Ах ты, гад, – сказал мальчик и довольно рассмеялся.

И указательным пальцем ласково коснулся тёплой, чуть подрагивающей шерстки живота хитрого хвостатого ленивца.

Вытянул кот лапы на солнечных ладошках – сейчас замурлычет.

ЗИМА НА ПОЧИНКЕ

Память, память, что ж ты делаешь, зачем тревожишь?

Огоньком, искоркой незваной, несмелой ворохнётся случайной порой в наслоениях впечатлений тёплый лучик, посланец прошлых дней, поманит солнечным пальчиком, потянет на тропку, текущую обратным порядком. И затуманит глаза, и помягчает в распахе сердце, забьётся в груди суетливым колобком, покатится весело, споро – по кочкам попрыгивая, по ямкам поухивая – в даль светлую, беззаботную, в страну детства.

В минуты такие – душевной оттепели – одна картинка видится мне непременно, один кадр выносятся на поверхность памяти: пофыркивая, гремя железными членами, после двухминутного простоя отваливает дальше на маршрут вечерний пинюгский пассажирский состав, сгрузив на тёмное заснеженное полотно разьезда Мосинский десяток суетливых, враз продрогших на ветру после душного вагона взрослых и детей. И среди них я и мама. Стоим, потопывая валеночками, похлопывая варежками, отыскиваем взглядом путеводную дорожку, сбегаящую с противоположной стороны насыпи.

За железнодорожной насыпью – широкое поле, местным лесопунктом на треть отхваченное под нижний склад, под грудно уложенный листовенный тонкоствол и бесхозно разваленный хвойный лесопил, а дальше – починок, одноулочная жилая зона в два десятка нехитрых избушек,

рвущих сейчас ночное покрывало острым светом окошек.

Туда, на починок, где на дальнем конце живёт бабушка, нам и надо добраться.

По малолетству шаг мой мал неширок, но всё равно я семеню ходко, шарю игривым фонариковым зайчиком по снеговому натоπτу, по натыканному по боковинам тропы через каждый метр еловому лапнику – какой же заботливый человек обозначил путнику правильный проход? не бабушка ли? – порой и ухаю одной ногой в сугробную мягкость по самый пояс, а то и по грудь. Мама приотсталла, и минуточку-другую копошусь в снегу, борюсь самостоятельно за высвобождение из пленного захвата: пытаюсь дрыгать свободной ногой, тыкаю кулачками в слабую настовую корочку, рискуя утопить походный фонарик – возни, визга много, а проку почти нет.

Помощь приходит, когда я уже окончательно умаялся, сдал силёнками, уморился бесполезностью борьбы – за шарфовые хвосты, узлом связанные на спине, за поднятый воротник пальто вызволяют снежного купальщика упорным тягом на пешеходную тропинку, ставят на ноги, обтряхивая с одежды белый прилип.

– Не торопись, сынок, успеется. Под ноги смотри, – в который раз напутствует меня мама, касаясь губами красного яблока моей холодной щеки, а я в который уже раз пропускаю её слова мимо: устёгиваю бесшабашно вперёд, в непроглядную безмолвную темень, разбиваемую лишь дальним лаем

дворовой псины, чтобы через сотню метров вновь кувыркнуться в притропочную проруху и, помучившись самоспасением, ждать скорой счастливой выручки.

Как тихо кругом – непривычна, незнаема городскому мальчишке такая тишина деревенской зимней ночи. Какое огромное небо над головой – низкое, прохудившееся белой сыпью и бьющим в лицо ледяным обжигом настырным ветром. И бежит, вихляет петлями меж белых горбов натопанная дорожка, окаймлённая хвойным поломом. А впереди – заветная цель: рассыпанные ровной строчкой огоньки, до которых, кажется, рукой подать, а на деле – топать и топать.

Когда знаешь, куда и зачем направился, и люди, тебя встречающие, дороги и любимы, когда оступишься или на кривом каком завороте загуляешь по глупости, по придури, но есть от кого ждать подсобления или милости отпущения греха – покойно, защитно тогда на сердце, увереннее на жизненном поле. Всегда бы так, да так не бывает. Только в детстве, когда хранит нас оборонное кольцо любви и внимания. Что ж так рвёмся, торопимся вырваться из счастливой поры во взрослость, где и добра заметно поскуднее, а любви и вовсе малые крохи?..

На починковскую улочку попадаем, преодолев высокий нагреб: сгрудил упорный трактор-дэтэшка недельную небесную насыпь за околицу, дальние брошенные сараюшки скособочив, почти порушив. Для меня, летами малого, эта стылая горбина, что для скалолаза отвесная стена – карабкаюсь наверх, к зубчато-

му пику, со щенячьим настыром, ловлюсь руками за обманные, на глаз надёжные выступы, рассыпающиеся от прикосновения, и сползаю, сползаю на брюхе вниз. Пока мамина страховка не подоспелет, раза три скубарить успеваю. И смех и грех. Но уж последние метры – по настылку, по хрупчатой, позванивающей земельной корочке – все равно бегом отмахиваю: подустал за полевую тропочку, подзамёрз, погреться хочется, вот и жжёт торопливость в сердце.

На опрятно обметённом крыльчке в одну кривую ступеньку у порожка обтрёпок веника брошен – поизжевались, покрошились берёзовые вички от постоянной работы. Одно название, что веник, по виду же – прямо малярная кисть. Впрочем, мне он без надобности: велика честь за ним наклоняться, на пустяки время расходовать, когда глаза одно видят – в щёлочку входной двери от внутреннего запора веревочный кончик просунут. На ветру подрагивает, завивается колечком, что живой мышинный хвостик. Ага, чуяли, значит, поджидают хозяева гостей, иначе бы такую предусмотрительность не сделали. Ловлю его фонарным зайчиком, непослушной, негнущейся варежкой пытаюсь зацапать – не сразу и получается крючок сорвать, потом долбаню упорно дверь плечом, чтобы провалиться в сенки одним махом. Но тут мой полёт вновь зависает: мама возвращает меня на исходную площадку, на дощатое крыльцо, ставит столбиком – сначала послушным, потом егозливым – и начинает тщательно обмахивать с ног до головы вениковым мочалом, улыбаясь и ласково поругивая за вертлявость.

– Мам, хватит, – сопротивляюсь я через секунду после начала принудительной чистки. – Всё, всё уже...

– Нет, не всё, – заключает через пару минут мама, всовывая веник в мои кулаки. – Ноги давай уж сам...

Очень охота возиться, когда всё равно через мгновение обутку скидывать. Потому протестую, пререкаюсь...

Но тут в сени распахивается с приветливым скрипом дверь горницы, в осветлённом проёмном пятне раскатывается клубами белое облако пара, из которого в строгой возрастной очерёдности начинают выныривать мои двоюродные братья Вова, Серёжа и Витя:

– А-а-а, Витька кировский приехал! Ура-а-а!...

Витя кировский... Так однажды назвала меня бабушка из Мосинского, чтобы как-то разделить внуков, раз уж выпало носить одинаковое имечко двоим. Две сестры родные не смогли договориться, назвать сыновей по-разному, вот бабке и выпала морока. Но прижилось скоро её прозвание, в отличие от Вити большого и Вити маленького. Конечно, я и повыше ростом был, и на пару годков постарше, только в слове «большой», устами взрослых произнесённом, слышалось мне не какое-то первенство или превосходство, а, напротив, не выраженный напрямую, но всё же укор, подначка обидная – вроде как толстый. Да и брату эта бабушкина уточнялка тоже обидна: шесть лет – маленький, ещё год, два прошло – всё одно малым остался. Сколько ж можно? Потому и бастовали мы слаженной

союзнической парой, игнорировали бабушкины призывы за стол. Утолкнемся где-нибудь поблизости от кухни, вроде как игрой или делом заняты – ничего не видим, ничего не слышим, ожидая, когда бабушка нас искать примется, терпение потеряв. А что искать: тут мы, никуда не девались, просто несогласные с разделом на маленьких и больших...

Невелика хатка жилой площадью, оконцами только и богата: в каждой половинине по целых два, от восхода до заката солнышко в них живёт. А родни понаселено много: бабушка Матрёна, дочь её Галина, мамы сестра младшая – женщина суетливая, востроглазая, с «лисинкой» во взгляде, затем муж её и мой крёстный дядя Лёша – неизменно опухший по причине лениво текущего пьянства и возлежащий часами с журналом «Огонёк» около мутно мерцающего, вконец расстроенного телевизора «Рекорд» со сбитыми, изжёванными плоскогубцами ручками настройки; их сыновья, совместными любовными трудами нажатая троица погодков. А ещё есть Колька, подросток, юноша почти, тоже мне брат по крови – его моя тётка до замужества нагуляла, потому и фамилию носит материнскую девичью – Дорофеев, хотя все кругом, кроме бабки, Чудиновские. Держится особняком – то ли показывает мелюзге превосходство возраста, и ему наши пацанячьи дела без интереса, то ли просто по характеру нелюдим, запахнут на все застёжки, к себе не подпускает, но и сам никуда не встречает.

Как уживались, как размещались таким солидным «колхозом»

В двух маленьких комнатёнках, разделённых дощатой переборкой, – трудно представить, а ведь жили, и ничего. Нам-то, мальчикам, взрослые проблемы не решать, не чесать затылок в раздумках – тепло, бегаем не сытые, но и не голодные, и на печи, на полатах, рядом с луковыми «баранками» и кинутыми на просушку стоптанными, подшитыми валенками и сырыми штанами всегда для нас схрон, всегда лежанка готова. Бывало, расшумимся под потолком, кучумалу устроим, распихаемся так, что сорваться запросто можно, – нам занятно и весело, а бабушке лишняя канитель: попробуй-ка урезонь такую вопящую ораву. Она уж и тряпицу половую схватит, на печную приступочку встанет, грозить снизу сурово примется, выкрикивая по её разумению обидные слова – охальники, погремушники, шантрапа, – а нам, орлятам, хоть бы хны, как с гуся вода. Пока в подможники к ней кто-либо из родителей не примкнёт – нет нам остановки, шустрим и дурим до обессилья, до надсадных коликов в животе.

После приезда и томительно-го перехода по морозцу, как разболокусь я с помощью братского услуженья, первым делом за стол, за ужин. Бабушка пирожков-шанежек – с картохой, с морковкой – настряпала, сырники, лимонники напекла, клубничное и черничное варенье из подпола достала, плеснула без обычной бережливости в просторную глиняную посудину этой густой мраморной сладости до краёв, рядом железные кружки расставила – в них смородиновый чай дымком исходит, кудрявится. Сразу и не хлебнёшь:

долго дуть надо, иначе ошпарка весь рот огнём обнесёт. И мама тут же гостинцы разложит: карамель да пряники, халву да яблочки. Мне привезённую из города магазинную кондитерку трогать как бы не полагается – ребятам это угощенье, они и так трутся вокруг стола, носом пошвыркивая, слюнки поглатывая, заглядывают любопытно, как родная тётка сумки распаковывает. Но когда усядемся гомонящей ватагой по лавкам, и я леденец пососу, фрукт похрумкаю. Хотя на выставленное богатство не особо и зарюсь: не то чтобы избалован дома конфетами или привередлив, капризен, другое моё внимание сейчас держит – настенные часы.

Часы эти, пристроенные на стеновой гвоздик рядом с угловой божницей – на ней икона Богоматери в резном, под золото крашенном окладе, пучок свечек и бутылёк святой воды, – двумя цилиндрическими грузелками на проводах почти до пола достали, механическим сверчком стучат размеренно, ходко – вот минута, вот другая, вот и часик пролетел. Когда стрелка, что подлиннее и поспортивистей шагом, встаёт восклицательным торчком – этого чудного мгновения я и поджидаю с радостным трепетом: не проглядеть бы, не разменяться на постороннюю отвлекаловку, – распаивается со щелчком квадратик дверцы, и чёрный клювик кукушонка, глотнув воздух раз-другой, выдавливает сонливое «ку-ку». Сколько заведённая пичуга прокричит, мне совсем безразлично – иного желаю с тайной надеждой: вот разладится сейчас что-то, пружинка какая лопнет или колёсико

за колёсико зацепится, заскребёт, а в результате не успеет упорхнуть в домик вестница времени, затормозит на половине обратного отскока и бац! – схлопочет по гладкой головке тугим затвором. Так тебе и надо, выскочка, не ломай застолье, подсказку взрослым не подкидывай.

Нет, не повезло мне на этот раз, не случилось птичьего убийства.

А взрослые, похоже, только и ждут этой напоминалки о позднем часе – торопятся спровадить нас спать, чтобы свои разговоры повесть, серьёзные.

Похватав со столешницы заначку, стыбнув кто что успеет – карамельку, яблочную дольку или горсточку халвы, – попрыгаем мы с братьевьями на печку, под жарким ватным одеялом устроимся семейно и, хотя глаза смыкаются, сон ласковыми сетями хомутает, непременно ещё в щекотку поиграем, повозимся дурашливо, пощечем о том, о сём. Пока не отвалится кто-нибудь молчком в сторонку, сопливым носом не заведёт бодяжную мелодию – соседские тычки вернут его на мгновение из забытья, а тут, глядишь, и ещё один удалец сдался, тоже свернул губки в трубочку, посвистывает.

Сколько всего на печке переговорено, баек разных, мальчишечьих секретов поведано – не вспомнить, не пересказать. Но на сон грядущий обыкновенно принимались мы страшные истории рассказывать: про тёмную-тёмную ночь и уродливого горбуна, бесприютно шатающегося по просёлкам и пугающего встречных детей загробным голосом, горящим взглядом; про безносую кар-

гу-вурдалачку, выходящую в мир с кладбищенской территории ровно в полночь и возвращающуюся восвояси на рассвете с алыми губами, вымазанными младенческой кровью; про лесную провальную ямину – пожирательницу заблудших грибников; про зубастую рыбину-людоедку с девичьим телом и роскошными волосами, утягивающую в осоковую могилу зазевавшихся купальщиков и незадачливых рыболовов.

Тянет рассказчик своё повествование, артистично голосом поигрывает – где до шёпота сойдёт, а где и до каменной громовой твёрдости, а то и вскрикнет для пущего эффекта в особо интригующем месте, так что слушателей враз с лежака скинет, а кто-то и в трусы сикнет, пук не сдержит. Долго потом от разлитой в воздухе горькоты надо ноздри зажимать, в подушку лицом зарываться. Виновника атмосферной порчи, а им чаще всего оказывался самый младший братец, конечно, побутузим сообща, на смех поднимем, навешаем по загровку оплеух, хотя и сами далеко не герои, в мокроштанниках и нам пребывать доводилось.

Спать давно пора, да разве уснёшь после всей этой жутковатой брехни – долго лежишь, подпирая потолок замороженным взглядом, вздрагивая от каждого шороха, каждого скрипа. Уже и родители разошлись, улеглись, а всё никак не преодолеешь пугающего наваждения – кажется, тянется сквозь пологовый навес, змеей извиваясь, язвами да волдырями усеянная ручища, норовит за горло ухватить, а ты оцепенел в ужасе, по вискам стук грохочет

– бежать бы надо, только ноги ватные, не слушаются. Так и падаешь в сон, как в огненную проёмину, в засасывающий земляной раскол – ни жив, ни мёртв...

Ложилась ли бабушка, преклонила ли седую голову, платком аккуратно повязанную, хоть на несколько часов, дала ли усмирительный роздых измождённому, постоянным хлопотаньем иссушенному телу – на вопрос этот и по сей день нет у меня ответа. Просто не видел её ни разу прохладжающейся в безделье, хворой или ко сну отошедшей.

Вот истекает день, за ним вечер, все накормлены, напоены, утолклись по своим местам, а она ещё шебаршит в кухонном углу почти впотьмах: посуду ли моет, скоблит ли кастрюли от пригара или скотине похлёбку готовит. А ранешной порой подскочишь, глаза продерёшь, нос с полатаей свесишь – она уже всю чугунками, сковородником орудует, на столе завтрак готов.

К тёплому её боку пристроившись, любил я наблюдать, как растапливает она печь.

– Дитятко, какой лешак тебя затемно поднял? – спросит непременно.

– В туалет хочу, – совру я в ответ, прижимаясь к ней плотнее, завернувшись в одеяло, как кутёнок.

Длинным ножом позгаёт она сухую чурочку, кидает в топку на полешки берестяные лоскуты и кудряшки, щепной мусор на совок подберёт, кочергой пошерудит, наладит порядок, чтобы дровишки ровно лежали, потом спичкой чирканёт, подожжёт тонкий древесный отколок и уже с него пустит огонь на берёзовую кору. И

долго ещё не поднимается, сложив на коленях узлом изработанные руки и наблюдая, как, поигрывая, потрескивая, набирает силу, нагуливает аппетит разгорное пламя.

Не шибко словоохочая – всё больше молчком, она, казалось, не особо меня и привечала. Конечно, в минуту приезда выйдет встречать, обхватит неловко, вопрос какой кинет или покажет наигранное удивление: «Гликось, как вымахал!..», да при проводах коснётся ладонью моего вихорного чубчика, перекрестит на дорожку, а потом отойдёт в сторонку, кончиком платка глаза промокнёт. Виное же время словно и нет меня для неё: подмочь какая требуется, мелкие поручения нужда исполнить – всё это раздавала она привычно моим братьям. И летали они, как угорелые, пятки мозоля: снег у крыльца огрести, воды натаскать, у соседей позаимствовать соли и спичек. Я же, по её разумению, выходил городским избалушкой, мамопапинким сынком, белые ручки которого натружать непозволительно. Приехал в гости, ну и гости, как сумеется, а уж мы как-нибудь сами...

И за проказы, шаловливую придурь, скопом учинённую, неважно, кто заводилой выступал, братовьям перепало по первое число, могла бабушка и валенком садануть по мягкому месту. Я тут же стою-маюсь, в общем повинном ряду: вместе натворили, вместе и ответ держать, только всё одно меня гроза минует, разве что слово «паскудник», произнесённое во множественном числе, можно было и на свой счёт отнести.

Единый раз отчитала меня бабушка персонально и прилюдно, когда в летнюю пору, встретив

с ребятами на околице возвращающихся с луговых пастбищ починковских коров, не жалея силёнок, исхлестал я вичку о бок неповинной бурёнки. Она и так послушно телепала к нашей ограде, не дуря, не тормозя стадо – знала своё место, колокольчиком позванивая, хвостом докучливых паутов разгоняя. А меня в нетерпеже заело медленным следом шкандыбать, вот и полосовал я прутом животину без нужды, скорил шаг, заводил её на бег. Бедная коровёнка от такого насилья и взбеленилась в итоге: проскочила родной заворот, умотала к чужим стайкам – выпучив на мучителя стеклянные, обидой замутнённые глаза, встала памятником, оглашая округу возмущённым рёвом, требуя привода хозяйки. Пока за хлебной корочкой не сбегали, не нашептали в ухо ласковой чепухи, ни в какую не желала домой возвратиться. Бабушка вполошилась, в непонятках: что это кормилица учудила, с какой стати? А когда до первопричины дозналась, ох и всыпала мне... Давно это было, очень давно, а до сих пор в памяти её гневная отчехвостка: «Не забижай, не паскудь руки, истязая живое... Болью ласки не добьёшься... Башка на плечах, чтоб не уши носить, а думать дадена... У-у, бестолковка!..»

Голова на плечах, чтоб не уши носить. Знать-то знаем эту присказку, да много ли проку с того? Разменялись на показуху, на пыль в глаза, возвели во главу правило: не быть, а казаться – вот и привыкаем к подмене: расфуфырку принимаем за красавца, пустомелю – за умницу, скромность – за порок. Быстро бежим, надсадно вперёд ломимся, ноги-руки крепим в суто-

лочной давке за лишнюю копейку, а голова-то и атрофируется потихоньку за ненадобностью. Верно же подмечено: чем кушать – много, чем думать – мало...

Как с печки спорхнём, сон прогнав, за столом повозюкаемся, насопимся, как бабушка говорила молока с хлебом, с блинами, хватя сразу пальтишки с валенками – и на улицу. Особенных развлечений зимой немного, с летним раздольем не сравнишь: сугробно – в лес не ухлещешь, морозно – над лункой на реке долго не прикорнёшь, околеть можно. Зато на санках душу отводили, когда бегали на рваный склон, длинный и с самолепными трамплинами. Для форсу усядешься на катанку спиной вперёд, торкнешься ногами о земельный выступ, потом ещё пару раз добавишь для набора скорости и поехал, помчался, повизгивая, в низину до первой вмятины или бугра. Там выбранное на вершине направление поломается крепко: и салазки загогульно пойдут в сторону, и тебя скособочит, а то и выкинет, так что перевёртышем дальше катишься. Снег всё лицо залепил, за ворот набился, ресницы холодом склеило, где-то и болячку заработать успеешь от неосторожного шмяка об ледяной язык или на сучок-землячок напорешься – всё одно восторгом душа полна, поёт. Разве загонишь домой такой поющий мальчишечий квартет – да ни в жизнь.

Или ещё забава – накуряться, накувыркаться в белом насыпе, выписывая сальто с какого-нибудь возвышенного места: с сарайкиной крыши или высокой оградины. Главное, хорошо поджаться, утянуть голову в плечи да оттолкнуться основательно, жёстко,

чтобы ноги сами взлетели. Тогда точно на задницу сядешь, как в перинное кресло приземлишься, а то, сплеховав, струсив чуток, можно и неразумную башку поломать, шею свернуть.

Родителей, понятное дело, такая наша бесшабашность пугала: заметят опасную затею, отчитывать кинутся: «Угробиться хотите?..», даже выдрать грозятся. Поканючим мы тут, вроде как согласны бросить эту дурь, а сами подальше от подгляда смоемся, на леспромхозовское поле, лесорубным хламом заваленное, и там прежнюю потеху дальше тянем. И лапник с торной тропы мимоходом сметём, растащим по сугробам, чтобы доступ на починок от посторонних скрыть. Свои, мол, и так дойдут, не забухаются.

Домой принесёмся – усталь всё тело сковала, сырущие до нитки, голодом животы скоблит: «Бабуль, поесть бы...»

– А-а, прибыли, поганцы, оголодали, – незлобиво скажет бабушка. И тут же подковырнет: – А дров принесли, воды натаскали?..

– Ну, ба... Ну когда? Ну мы потом сполним... – затынут братья обычное нытьё, вытыривая меня вперёд, как оборонительную заслонку от домашнего обуза.

– Ладно уж, снегованы, разболокайтесь. Куды ж вас девать, – согласится бабушка, скользя по моей мордашке усмешливым взглядом, отойдёт на кухню, загремит ухватом, поварёшками-ложками. Обернуться не успеет, а мы уже смирной стайкой за столом обжились, ждём покорно.

Эх, славно-то как, душевно, покойно...

...Нет уже давно того привыч-

ного бабушкиного дома: снёс мой младший братец его бульдозерным ковшом, когда порешил обустроиться, отстроиться на родном месте капитальнее, раздольнее, – пятистенок из бруса поставил. И бабушки Матрёны давно нет: старший Володька свёз её на Верходворский погост в слякотную осеннюю непогоду, месяа колею мощным «Уралом», – едва и не опрокинул тогда машину в кюветную жижину, не покалечил скорбящих сопровождающих, не свалил гроб на обочину. Нет в живых и Серёжи – задавило его по пьяни трактором в гаражном бараке, когда такой же забулдыга вздумал задним ходом трогать. И крестного дяди Лёши тоже нет – попал под состав на разъезде, когда, крепко выпивши, шатун на путях устроил. Что осталось от той мясорубки, что в могилу опускали, не было желанья уточнять...

Умерла в восемьдесят третьем и мама – гипертонический криз, кровоизлияние в мозг, а на её похоронах, в горевые те дни и с родной тёткой, с братом Колей разбежка бесповоротная вышла: вздумалось им, как последним барахольщикам, набивать баулы мамиными платьями и кофточками, беззастенчиво шныряя по комнатам...

Память только и жива, клюет воробушком серые будни, раскидывая весёлые крошки детских воспоминаний: починок, бабушкина изба, жаркие полати и ледяные горки. И обложенная еловым пунктиром тропочка от станции, по которой так легко бежалось впереди приотставшей мамы...

Как, что там сейчас случилось – не ведаю. Не выпадает дорога в Мосинский...